

Давно гляжу: лежит в магазине пятый том шукшинского собрания сочинений, выпущенного еще в 1992 году в Екатеринбурге, кирзово-фуфаечный, бедноватый в оголтелом (голотелом) окружении зазывных, броско-наглых обложек, и даже на взгляд там ему неудобно. Догадываюсь, что, когда ночами повторяется история его горькой сказки «До третьих петухов», в которой Иван-дурак, оставляя на библиотечных полках своих серьезных «коллег», идет по их просьбе добывать справку, что он умный, этот невзрачный том «наводит шороху» среди публичной обложечной шушеры, так что перед открытием магазина эти «лакомые кусочки» и «рабыни секса», «дьявольские уловки» и «поцелуи на краю смерти» долго не могут найти своих мест. Но днем они свое возьмут. Новый читатель, уже успевший втянуться в этот глянцево-хищно рвущий внимание мир, обойдет бедную обложку, как придорожный камень. А между тем и том-то ведь не публицистики, на которую не всяк охотник, а самых лучших рассказов. Для памятливого человека одно оглавление - чистая музыка: «Жена мужа в Париж провожала», «Миль пардон, мадам», «Страдания молодого Ваганова!» В доброе старое время удержи-ка такой том на полке долее дня!

Так что же? Всеу свое время под солнцем? И забвение, подкрававшееся к Шукшину, естественно: другие времена - другие песни? Нет, тут эстетическим вздохом не отделаешься: за ним не то что не вся правда, а, кажется, и вообще правды нет. В этом забвении есть кое-что посуущественнее и поблезненнее для каждой души. И речь не о старении творчества хотя бы некогда и очень близкого художника, а о состоянии нашей души, нашего народного сердца, нашего национального ума. За трескотней о возрождении России мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а как-то исподтишка подменили пустой оболочкой, лубочной картинкой и вот дивимся, что ничего у нас не выходит. Чтобы скрыть внезапно обнаружившуюся пустоту, стали русского мужика где поглубже искать: одни во временах Калиты и Ивана Васильевича, а другие в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина. Свой, недавний, показался негодным для реформаторской переработки, слился в какого-то плакатно-безликого «колхозника», который гирями повис на ногах преобразователей и не давал шагу ступить. А поскольку именно этого неудобного для социальных экспериментов мужика писала

«деревенская литература» и именно в нем мы, наконец, после всех идеологических обмороков стали различать свои настоящие корни и во всех передрыгах уберегшийся голос живой традиции, то, значит, пришлось заодно и «деревенскую литературу» освистать, нарочито опорочить ее как «казенную» и «поощряемую государством».

Для такой постыдной работы ума много не надо, и охотники нашлись скоро, но расплачиваться за эту открытую ложь придется всем, в том числе и самим иронистам, если они не успеют переменить отечества (у них это быстро). С бумажным мужиком много не поработаешь - все равно придется к реальному на поклон идти, а для этого его надо видеть и знать со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девавшейся волей, с его ленью и его неутоленной работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью - со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.

Да и не написал он (не то это слово). Не будет ни обиды, ни неправды, если сказать, что он не был только писателем, хотя деревенская проза и числила его своим, и сам он себя по этому «ведомству» проводил. В том-то и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что он писал, играл, ставил свои фильмы, ни на минуту не выводя себя на позицию только «автора», властителя текста или киноматериала. Он всем этим жил. Кажется, он автором-то только и был в то краткое мгновение, когда замысел только брезжил и горячил воображение, а как доходило до дела, то с

первой строки и первого кадра он уже варился в середине действия, плача, смеясь, страдая, ненавидя, мучаясь от тоски и любви, непонимания и восторга.

Нам всем полегче, и мы подольше живем, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде в участники суемся, кое-что и мимо пропускаем. Посетуем про себя - вот сволочи, что делают! - но обойдем за версту. А он так и не научился этому житейскому искусству и, кажется, даже попытки не сделал выучиться, а сразу летел в самый клубок ситуации и уже махал кулаками, кричал, срывал голос и изнашивал сердце, так что в 45 лет, когда он ушел, оно, по свидетельству врачей, было как у 80-летнего. Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нем за жаркое самоосмысление, пока не разорвала его.

Это был очень народный способ существования - почему профессионалы и подозревали его в «дилетантизме», да и сам он, по примечанию дружившего с ним Г. Буркова, был затаенно неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Мы-то вот тоже рядом с целым человечеством живем, а нет этого зренья, этой сорастворенности, при которой другой становится тобой и мучается в тебе невысказанный, жжет тебя своей правдой, пока ты ее не выговоришь. Да и свою правду в себе не удержишь. Не оттого ли у него так часто спорят, хватают друг друга за грудки, доискиваются истины? Никаких пейзажей, никаких обстоятельных вступлений, словно и самому автору не терпится узнать, до чего договорятся герои, что им откроется. Встретились - и вперед!

Может быть, от этого и мерещился дилетантизм. Ждали «прозы», а оказывались в уличной свалке или наедине со сбившимся человеком, который без стыда выкладывает все как на исповеди. И никак не хотели увидеть, что тут страсть сродни страстям Достоевского. Оказалось, что не в одном выморочном Петербурге мается человек, а тень этого безумного города уже и на всю Россию легла и до сибирской деревни дотянулась. Боюсь, что тут и умозрения никакого нет, а подлинно, как Петр вывихнул Россию, сселив ее в европейское болото, так выпарившаяся из этого петербургского неживого нерусского болота революция сорвала с места, казалось, навек устойчивого деревенского человека и понесла его по земле - то в город, то в тюрьму, а то и в родном вроде остался селе, а все равно будто в поле без крыши над головой. И он заводится, защищаясь, отбиваясь налево и направо, изо всех сил отстаивая себя, волю свою и право. У Достоевского-то русский человек с этой волей уже как бы лишнего требует, Бога допрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь», насилует жизнь. А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережет, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть свое отстоять, душу живую в унылом общем равнодушии не погубить.

А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой и слишком еще в нем много крепкой природной жизни и в отличие от достоевских сумерек все будто в полдень происходит - летит и переливается, сверкает и поет, все через край и вперебор, с бесконечной чрезмерностью. Да

и по традиции у нас за мужиками иные, некрасовски-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли - и поминай как звали... А потом скулим: плохо жить», - это Ефим Валиков из рассказа «Суд».

«Ду ю спик инглиш, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича», - а это «психопат» Сергей Иванович Кудряшов.

«Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам... И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь?..» Это Иван из рассказа «В профиль и анфас».

«Вот у тебя есть все - руки, ноги... и другие органы. Какого размера - это другой вопрос, но все, так сказать, на месте... Но у человека есть также - душа! Вот она здесь - болит! - Максим показывал на грудь. - Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую - болит». Это Максим Яриков («Верую»).

Я нарочно выписываю эти косноязычные невнятности, это на интеллигентный взгляд растительное страдание, которое вроде и страданием-то не назовешь. Но мужики, слава Богу, критики не читают. Гонит их тоска, гнетет «незаполненная», хлябающая душа. Все время какой-то «зазор» остается, злая пустота покоя не дает. Тонкости тут мало, но больно, может, и поострее интеллек-

туальной, потому что причины не знает и в слова не облакается (чеховскому-то да и Достоевскому страдальцу иногда довольно того, что он возьмет да и хорошо формулирует свою боль и уже этим и развеет или хоть поослабит ее - красота-матушка по внутреннему своему милосердию спасет). А этим куда податься? Попали в какое-то межеумье, в «промежутки» - и пошло-поехало. Мачеха-история, о которой они и думать не думают, выбила их из здорового порядка жизни, осмеяла, отняла их старую наследованную жизнь, а вместо новой подсунула какую-то мякину, которая им поперек души. И вот они маются по тюрьмам, как Степка из одноименного рассказа или Егор Прокудин из «Калины Красной», и дерутся, и плачут, и никому вокруг не дают покоя. На месте не постоят. У Егора это виднее всего: почти не властен в себе, душа все время обгоняет рассудок и несет его как на огонь. Он бы все равно сгорел, сорвал жизнь, потому что ему надо все и чтобы в этом всем сила и воля была во весь размах, в полный русский простор.

Мы, к сожалению, как следует этой тоски шукшинских героев не поняли. Сами еще обманывали себя затхлой стабильностью и хоть предчувствовали, что долго так не протянется, но отсиживались, тянули, надеялись на спасительное «авось». А он уже знал, что в таком «межеумье» человеку не жить. Нас обманывала форма, «одежда» героев, чудачество и дурачество их. Мы вроде и знали, что дурак на Руси одну правду говорит, но как-то, как всегда, только к историческим дуракам и блаженным это относили, а на своих глядели с обычной снисходительностью

«умных и знающих». А дело-то тоньше. Один умный европеец отлично заметил, что Дон Кихот - это великий человек, становящийся дураком из-за отсутствия цели. Есть тут что-то сродное. И все шукшинские «дураки» - мающиеся «без причины» мужики, у которых душа болит, и несчетные его ввали начиная с Пашки Колокольниково («Живет такой парень») до Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам») вовсе не по вывиху душевному так выпадают из реальности. Они и врут-то потому, что старые связи навек порвались, а новых они не чувствуют, и вот им скучно жить, мало вялой нищенской правды повседневности.

Они что - не знают истинного своего положения? Со стороны себя не видят? Да нет, знают и видят, а вот подойдет час, и опять поднимет их счастливая волна, и они вознесутся над родной деревней и проживут чужую, неслыханную, ослепительную жизнь и хоть на этот краткий миг утолят рвущуюся на простор душу. А не представится случай соврать - спюют с такой силой и звоном, что вся душа в песне изойдет.

Тихие и занозистые, злые и беспечные - все они как-то неуловимо ходят друг на друга, будто братья. Все заводные и талантливые, все болеют его шукшинской мыслью, живут его даром, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли, допрашивал мир о его правилах и не хотел согласиться с социальным загоном, с узкой «нишей», куда общество для своего удобства заталкивает человека и потом гонит его к смерти тесным коридором, приглядывая, чтобы он не особенно вываливал-

ся из границ. Кажется, он эти пути чувствовал непрерывно и рвал их враньем, чудачеством, прямым выяснением, дракой.

«...Стеньку застали врасплох... Он любил людей, но он знал их... он делил с ними радость и горе... Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень: «выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», - сказал он».

Он понимал Стеньку и понимал Васеку, который этого «Стеньку» делал ночами: «У Васеки перехватило горло от любви и горя... Он любил свои родные края, горы свои, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила - просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться».

И Василий Макарович любил горы свои, родные края, мать и всех людей и, как Васека, не знал, что сделать для них, «чтобы успокоиться». И делал того же Стеньку. По сути, во всех рассказах и во всех ролях и сценариях он писал его. Его и себя, которые были одно. Сколько раз писали о том, что Шукшину не дали снять «Разина», что начальство разными способами сопротивлялось запуску картины и тем, конечно, подталкивало Шукшина к смерти. Но вместе с тем есть и какая-то мистическая предопределенность в том, что он не снял «Разина». Не в одном начальстве дело. Тут будто судьба удерживала его от какого-то главного разочарования. Не историческая картина нужна была Шукшину, не канонический народный заступник. Он воскрешал во всей силе и первоначальности неуправляемую, не подчиняющуюся закону, мятущуюся

и измученную, вольную и грозную народную душу, раздувал ее из-под почти уж затянувшегося ее пепла, опять готов был устыдить расслабленного человека и искушить его могучей тоской по силе и призванности. Беспокойный свой автопортрет ставил, и это уже пугало как социальная опасность - вот и навалились кучей те, кого он «любил и знал», и повязали по рукам и ногам и даже казнить не стали, поняли, что самая-то страшная казнь - это как раз связанные руки.

Не знаю, может, мне это только мерещится, но не по одному «Степану», а и по большинству его вещей видно, что Шукшин оттого и страдает и не знает покоя, что вольная его душа отовсюду уходит с так и не разрешенным внутренним вопросом. Ведь этот его усталый не то крик, не то страшный шепот: «Что с нами происходит?», вырвавшийся в «Кляузе», а до этого точивший его все сознательные годы, он и в «Разине» на глубине слышен. Что гнало эту пылкую, могучую натуру? Не наши же школьные исторические обоснования! Почему его воля, такая естественная, такая сродная милому домашнему простору, такая русская, вызревает такими дикими и часто страшными плодами, что его в русских соборах в адских котлах пишут (Шукшин окаменел, впервые столкнувшись с этим). Не оттого ли он никак не мог найти фильму удовлетворяющего финала?

Кажется, Шукшин начинал отрезвляюще сознать, что волюто, как Степан, можно дать, но с одной волей человек не живет, потому что она воспалит и опьяняет душу и в конце концов дожигает ее, если на каком-то пределе



не переходит в с в о б о д у, которая вовсе не родня воле, потому что строится на дисциплине и вере, любви и правде, ответственности и духовной трезвости. Похоже, «Разин» вывел Шукшина как раз к осмыслению свободы и дал особенно остро почувствовать, что от нее человек еще дальше, чем от воли, и, самое тревожное, не видит этого разрыва. Незадолго до смерти он говорил в интервью «Сибирским огням»: «Теперь, я думаю, надо обострять, обострять как можно активнее, безжалостнее. Доводить разговоры до предела...» - и дальше настаивал, что особенно высоко надо ставить «вопрос совести». Можно только предполагать, до какой степени «безжалостности» и «обострения» он мог возвысить свое творчество. Сердце указало этот предел: разорвалось ночью так стремительно, что не успела рассосаться таблетка валидола под языком. Как всегда, до предела он довел прежде всего себя.

Несколько лет назад В. Г. Распутин горько и верно написал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишенной содержания жизни видно, что не только не поддержали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся - бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жизни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только не стыдны и не опасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неустройства и сбои человеческой природы есть только измена насто-

ящему существу жизни, и просто-душно надеялся на опаматование человека, на выздоровление общества. Этой святой наивной верой проникнуто каждое его слово.

Он приходил напоследок показывать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом данной святой полноте, и мы еще успели почувствовать это и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем мы могли быть и что предали в себе, какая даль еще была возможна в нас, какой еще полный во весь огляд Родины простор и какая воля! И как будто в отместку себе потом с удвоенной стремительностью покатались в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение, в теперь уже истинно «религиозное» исповедание принципа «кто был ничем, тот станет всем».

Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали страной для своих лучших детей. И теперь нам уже не дожидаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сростки, заговаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот - есть еще куда отступить, есть где отдышаться, собраться с духом», - и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда».

Мы и сами следом за ним, следом за врачевавшими нас «деревенщиками» надеялись, что ничего не потеряно, что где-то ждут нас

родные корни, крепкие и живые, чистые и невредимые, пока не очнулись посреди чужой страны, чужого языка, чужих нравственных законов, как в изгнании, и теперь перечитываем его со странным чувством: неужели это было с нами, в нашей России, и это мы были таким талантливым народом с такой становящейся летящей душой?

Шукшин был наиболее личным из русских художников. Никак не литератором только, не актером, не режиссером. Мы даже как будто были «умнее» его и относились именно как к младшему брату - непутевому, заводному, всякую минуту готовому загнать нас в сомнительную ситуацию, из которой неизвестно как выпутываться, но чистому душой и оттого чуть снисходительно любимому. Наше бедное интеллектуальное знание какой-то своей частью стыдилось его, как стыдятся хороших, но не умеющих вернуться деревенских родственников, а в душе мы тосковали и про себя верили, что и сами еще можем вернуться к этой здоровой наивной чистоте. Мы благодарили его за то, что он «легализовал» наше загнанное в подполье лучшее, позволил не стыдиться того, что мы торопились загородить «воспитанием» и комплексующей оглядкой на чужое суждение, на скверно понятую нами городскую культуру, за которой уже маячила «культура рыночная». Увы, всем последующим своим поведением мы доказали, что хватило нас ненадолго, что не устояли мы на шукшинской ноте, не помогли ему, не поддержали и в конце концов оказались все-таки раздавлены своей вечной унижительной оглядкой на «цивилизированные страны»,

предали свою волю и правду за чечевичную похлебку цветистой пошлости, с которой воюет ночами на книжных прилавках бедный рабочий том Шукшина.

Есть в воспоминаниях Юрия Скопа пронзительный и на глубине символический эпизод.

«На «Странных людях»... снималась массовка - проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом...

День выдался самое то... Человек сто, а может, и поболее вышли на расставанье. С песней... Живет в народе такая – «Последний нынешний денечек...» Мотор! Пошли... Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тое... Позабыли, оказалось, песнь-то... Дубль, другой... Макарыч яриться начал... Пленка горит, а в результате - чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и как рывкнет:

– Вы что?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы что?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...

И начал:

– Последний нынешний денечек... – зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным за всю массовку вложил в голос. Откуда что берется?.. И вздохнула деревня, прониклась песней...

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины тосковали: вот уж спели так спели! Ах...»

Мы все спели с ним последний раз. Теперь песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!»

И некому отозваться...